

Возвращение в Украину

Рассказы художника Амшея Нюренберга (1887-1979) об учебе в Елисаветграде и в Одессе дополняются письмами его мецената – немецкого агронома коллежского секретаря Оскара-Яна-Эмиля Августиновича Беренса. Использованы материалы из Художественного музея города Кировограда (бывшего Елисаветграда) и личного архива внучки художника Ольги Тангян.

О ранних годах моего деда известно мало. Откуда у провинциального мальчика появился интерес к искусству? От увиденных дома олеографий с изображением голландской зимы? Кто были его первые учителя?

В "Автобиографии" Нюренберг приводит такие сведения о своей юности в Елисаветграде и Одессе:

Родился в 1887 г. 17 апреля в городе Кировограде (бывшем Елисаветграде). Влечение к рисованию я рано почувствовал.

Первым моим учителем изобразительного искусства был маляр альфрейщик Иван Глинянный. Он великолепно владел росписью стен и потолков в трактирах и чайных. Когда дело касалось изображения идиллических фигурных сцен и романтического украинского пейзажа, он меня брал в помощники. Я, конечно, был очень рад. У него я узнал также первые приемы скульптуры.

Через год я с помощью одного агронома, которому понравились мои работы, отправился в Одессу, где был принят в головной класс Одесского Художественного училища. Руководителем этого класса был итальянец Иорини.

Потом я перешел к Ладыженскому — замечательному акварелисту, который меня быстро переправил к Костанди, сказав, что "у него мне нечего делать". У Костанди я пробыл до 1910 г., изучив настоящую колоритную живопись. Костанди был блестящим мастером станковой живописи. В это время я начал готовиться в Париж, куда меня звали мои бывшие друзья по школе: Мещанинов, Федер и Мильман...

(Архив Нюренберга)

Недавно в архиве Нюренберга обнаружили и три его рассказа "Елисаветград", "Одесса. Осень 1904", "Погром", написанные предположительно в 1930-1940-е годы. В первом рассказе, "Елисаветград", Амшей предстает 15-летним мальчиком, робко начинающим заниматься искусством.

Он имеет художественный талант, но сознает, что ему как старшему сыну в семье следует, в первую очередь, подумать о насущном хлебе. Поэтому он идет учиться писать трактирные вывески в малярную школу.

Амшей был одаренным и хорошо воспитанным молодым человеком. И обладал способностью располагать к себе людей. Среди тех, кто симпатизировал ему, оказались учитель рисования в школе, руководитель малярной школы Глинянный, владелец конторы инженер Гольденберг, делавший ему первые заказы, а главное, его меценат — немецкий агроном Беренс, который финансировал его учебу в Одесском художественном училище. Покровительство Беренса предопределило выбор профессии Нюренберга.

Известно, что фамилии часто указывают на происхождение семьи или род занятий. Размышляя над историей фамилии Нюренберг (первоначально она писалась как Ниренберг), можно предположить, что предки моего деда происходили из одноименного немецкого города. Свое имя Амшей художник объяснял как производное от Иегова — Иешуа. Его отец Марк был глубоко религиозным человеком, и потому дал старшему сыну библейское имя.

Семья Нюренбергов была небогатой, но многодетной, — 10 человек детей. Отец Марк занимался торговлей рыбой. Однако больше всего его интересовали метафизика и религия. Он хорошо знал Священное Писание и любил пофилософствовать на библейские темы. По воспоминаниям сына Амшея, отец мог горячо включиться и в дискуссию о том, сколько жен было у царя Соломона, и как он с ними уживался.

Трудно было ожидать от человека, столь далекого от реальности, успехов в торговле. Больших успехов у него действительно не было. Непосредственно торговлей занималась мать, которая не разделяла отвлеченных интересов своего мужа и полностью посвятила себя заботам о семье. Нюренберг запечатлел типичный диалог-спор, возникший между родителями относительно того, как распорядиться первым заработком сына и как отнестись к предложению Беренса послать его учиться в Одессу. Несбыточным иллюзиям отца противостоял трезвый взгляд на жизнь матери:

Отец первым делом потребовал, чтобы я свой золотой спрятал на счастье или приобрел на все пять рублей выигрышных заграничных билетов:

— Чем черт не шутит, — говорил он, как обычно, ковыряя в ухе в моменты волнения, — вдруг мы все разбогатеем, и тебе, сынок, не придется писать вывески. Ты сможешь сдать экстерном за восемь классов гим-

назии и потом поступить в университет. Выйти в люди. Все может случиться.

Но мать, не знаящая тяжелого плена тщеславия, ему убеждающе говорила:

— Чего ты пристал к мальчику? Не понимаю. Нашелся человек, который хочет помочь ему достигнуть цели, — и пусть. Пусть он едет в Одессу. Счастливого пути!

(“Елисаветград”)

Так молодой человек решает ехать учиться в Одессу, где, по словам хозяина технической конторы Гольденберга, можно легко “сделаться человеком”. Тогдашняя юношеская наивность описана им с известной иронией:

И я, убаюкиваемый этой сладкой лестью, незаметно для себя отрываюсь от работы, живо рисовал себе далекую сказочную Одессу, где можно скоро сделаться человеком. Одесса мне казалась городом, равным Нью-Йорку, Парижу. В возбужденном горячем мозгу рождались фантастические образы длиннейших улиц и небоскребов. По асфальтированным улицам неслись толпы спешащих, хорошо одетых, тщательно умытых и выбранных счастливых людей.

(“Елисаветград”)

Существовало несколько версий того, как познакомился молодой Нюренберг с Беренсом. Из рассказа Нюренберга “Елисаветград” следовало, что знакомство произошло благодаря инженеру Гольденбергу, для которого Нюренберг делал заказную работу, и который рекомендовал его будущему меценату. По версии писателя Виктора Финка, получалось, что меценат познакомился с молодым Нюренбергом в лавке, где была выставлена его скульптура Льва Толстого*:

Летом 1904 года в Елисаветграде, в писчебумажном магазине был выставлен для продажи бюст Льва Толстого. Говорили, что эта работа какого-то местного жителя.

Но вот пришел в магазин ученый агроном, некий Беренс. Скульптура заинтересовала его, он пожелал познакомиться с автором. Приказчик сбегал и через несколько минут привел мальчика лет пятнадцати. Это и был скульптор-самоучка.

Мальчика звали Амшей Нюренберг. Ему очень хотелось учиться, но не было средств. А ученый агроном оказался русским интеллигентом. Он не

* Поскольку комплект открыток был выпущен при жизни Нюренберга, эта версия не могла возникнуть без согласования Финка со своим другом. Возможно, Нюренберг хотел романтизировать свой дебют.

смог оставаться равнодушным к судьбе молодого таланта. Он увез мальчика в Одессу и устроил его в художественное училище, где начинающий скульптор предпочел учиться живописи. Беренс содержал его до окончания курса и помог ему поехать в Париж для дальнейшего усовершенствования. Ведь о петербургской Академии художеств мальчику в то время и мечтать нельзя было.

(Сопроводительная статья В. Финка к комплекту открыток с репродукциями работ А. Нюренберга. М., "Советский художник", 1970 г.)

Легендарная личность Беренса приобрела реальные очертания, когда я прочла его письма своему подопечному и увидела фотопортрет с надписью: "Моему дорогому брату, Амшею, на добрую память от просящего у него прощения за содеянное зло". Беренс хорошо знал пословицу: "Не хочешь зла — не делай добра". На самом деле, если бы он мог предвидеть, как сложится профессиональная судьба Нюренберга, он бы не пожалел о "содеянном зле".

Переезд из Елисаветграда в Одессу явился важным событием биографии Нюренберга. Молодой человек 17 лет впервые покинул свой дом и начал самостоятельную жизнь в большом городе. Он снял комнату вместе с тремя другими жильцами, с видом на море и стоящие в порту корабли. Вначале ему жилось нелегко, но в Одессе он встретил многих единомышленников и начал участвовать с ними в совместных выставках.

Море стало для молодого художника главным открытием и источником вдохновения. Не случайно в ранних картинах Нюренберга преобладали морские мотивы: "Паруса" (1910), "Алые паруса" (1910), "Купальщики" (1916), "Белые паруса" (1916). Сюжет и название одной из картин предвосхитили название романа "Алые паруса" (1923) писателя А. Грина, тоже одержимого морской романтикой.

В Одесском художественном училище Нюренберг сначала посещал классы скульптора Иорини и акварелиста Ладыженского, затем класс академика Костанди. Спустя несколько лет вслед за Амшеем тот же класс окончил его младший брат Давид (позже известный как Д. Девинов-Нюренберг). Оба художника считали себя учениками Костанди.

Можно позавидовать памяти и наблюдательности Нюренберга, запомнившего все детали внешности, одежды, манеры разговаривать, маленькие слабости своих профессоров. Он считал, что душевные свойства учителя играли для ученика подчас более важную роль, чем его педагогические таланты. О профессоре Иорини, который не только наставлял молодых людей, но и отечески опекал их, написано с особой теплотой:

Его метод преподавания, построенный на старых академических принципах, казался нам скучным. Но задушевная искренность и всепоглощающая любовь к искусству этого редкого человека делали то, чего не могли делать лучшие методы преподавания. С Иорини я скоро не без грусти расстался, перейдя в основной гипсовый класс.

(“Одесса. Осень 1904”)

О профессоре Ладыженском, которого он недолюбливал, но склонял голову перед его авторитетом, было сказано выразительно и жестко:

Это был крайне нервный, желчный и как динамит встльчивый человек с лицом старой хитрой мартышки. Его замумифицированное сердце редко давало чувствовать себя и казалось мертвым. Его слова, напитанные ядовитой слюной, в состоянии были вывести из терпения самых толстокожих людей. Он избегал общества и почти всех людей рассматривал как своих личных врагов. Но его класс пользовался заслуженным авторитетом, и оценка, данная Геннадием Александровичем, решала участь учащегося.

(Там же)

Большинство сохранившихся писем Беренса своему подопечному относится к периоду учебы Нюренберга в Одесском художественном училище. В первом сохранившемся письме от 1905 г. Беренс четко сформулировал цель, ради которой Нюренберг должен был учиться:

...Учитесь усердно, чтобы, достигнув того, к чему Вы стремитесь, для чего Вы учитесь, Вам бы со временем жилось легче.

Беренс был строг: мог похвалить Нюренберга, но мог и отругать, и даже отказать ему в просьбе. И требовал отчета за проделанную работу, скрупулезно проверяя, на что были потрачены деньги. Он не был расположен помогать в тех случаях, когда был не убежден в целесообразности своей помощи. В письме 1909 года он писал:

К моему великому сожалению, я должен Вам ответить отказом в Вашей просьбе. ...Но я не чувствую своей вины только потому, что я глубоко убежден, что Вы вступили на ложный путь.

Будучи студентом, Нюренберг подпал под влияние декадентских настроений. Тогда была в моде пьеса О. Уайльда на библейский сюжет “Саломея”. И Нюренберг написал серию чувственных картин с изнеженно возлежащей на ложе царицей (“Завтрак Саломеи”, 1911; “Пир Саломеи”, 1915). В письме 1908 года Беренс предостерегал молодого художника от увлечения модными течениями:

Бросьте и Вы лучше эти настроения, которые никому ничего положительного не дали, а лучше изучите прежде то, что создано другими. А уж

когда изучите все существующие школы, то выбирайте любую из них или даже создавайте свою собственную, если хватит на то сил, но теперь увлечение декадентством только может сбить Вас с толку, помешав изучать то, для чего Вы поступили в школу.

Он упрекал молодого человека в недостаточном трудолюбии, поскольку тот полагался скорее на свой талант, чем на тщательную работу. У Беренса были основания для недовольства. Вскоре после поступления Нюренберга в училище в 1904 году начались политические волнения, отвлекавшие его от занятий. Потом Нюренберг прерывал образование для поездки в Париж и был вынужден позже сдавать недостающие экзамены. В результате он лишь в 1917 году сумел получить полноценный диплом. Все это не могло радовать его покровителя. Беренс распекал нерадивого студента еще в 1909 году:

Вы говорите, что в Академию уже поздно подавать прошение, что Вам хотят дать какой-то "куцый" аттестат. Да разве, если бы Вы серьезно любили Ваше искусство, Вы не подумали бы о том, что подать прошение нужно тогда-то, да разве Вы могли бы получить куцый аттестат?

Благотворитель Нюренберга пытался уговорить его не ехать учиться в Париж, усматривая в этой поездке тягу к легкой богемной жизни, а потому лишь пустую трату времени:

Но что может Вам дать Париж при Вашем отсутствии характера и настойчивости в достижении известной цели — я легко могу себе представить, а потому искренне Вас отговариваю от этой мысли. Подумайте хорошо над этим, Вы сами себе сознаетесь, что Вас тянет в Париж не искусство, а парижская жизнь, которую другие Ваши товарищи с "куцыми" аттестатами нарисовали особенно привлекательной.

Беренс первый отметил некоторую противоречивость натуры Нюренберга: его желание заниматься сразу несколькими предметами, в частности, искусством, литературой, философией. А также разбросанность устремлений и отсутствие конечной цели.

Несомненно, что Беренс был во многом прав. Но он рассуждал о творческой работе с точки зрения служащего, а не художника. Подобная мудрость не всегда применима к творческим натурам, которые нуждаются в жизненном опыте и знакомстве с другими культурами. Им необходимы яркие впечатления, они не могут существовать в замкнутом пространстве. Поэтому Париж, куда в начале XX века устремились художники со всех концов света, был для молодых людей особенно притягателен.

Однако главное в отношениях мецената и начинающего художника было то, что он не ограничивался лишь денежной помощью, но стал для молодого человека наставником. Призывал его трезво оценивать свои возможности. Свою строгость объяснял тем, что ему было небезразлично его будущее, что он хотел оградить его от дурных влияний и ошибок. При этом Беренс неизменно проявлял заинтересованность в судьбе своего протеже, искренне радовался его успехам. И поддерживал в нем веру в успех.

Иногда его письма становились по-настоящему теплыми. Так в 1912 году он писал 25-летнему юноше в Париж:

Если Вы действительно имели намерение облегчить мою ноющую душу, то Вы достигли этого вполне, и я крепко обнимаю Вас за Ваше прелестное письмо. В нем Вы поговорили со мною искренне и сердечно, забыв совершенно о форме и стиле, так много портивших Ваши прежние письма и так заслонивших мне того Нюренберга, которого я в Вас всегда чувствовал.

Ну и какой же из Вас декадент? Разве Вы сами этого не видите? Следуйте Вашему сердцу и чувству, отбросьте все модные учения и увлечения разными направлениями, и Ваши произведения кисти также смогут тронуть до слез, как и несколько просто написанных строк, которыми Вы меня так тронули.

А я глубоко верю, что то, что положено Богом в Вашу душу, рано или поздно выйдет наружу, а мне только кажется, что я лучше Вас видел, что у Вас там есть, и вижу теперь, что предположения мои сбываются.

В связи с письмами Беренса вспоминается известное высказывание: "Любить — это видеть человека таким, каким его задумал Бог". Как человек был задуман, можно судить по его ранним годам жизни. При ближайшем рассмотрении первоначальный замысел угадывается и в последующие годы. Действительно, Беренс сумел увидеть в молодом человеке то, что в полную меру проявилось в нем лишь позже.

Бесспорно одно: Нюренберг испытывал к своему покровителю глубокую признательность. Иначе он не хранил бы всю жизнь его письма и фотографию. И не сдал бы их потом в музей как реликвии.

С Одессой у художника были связаны не только приятные воспоминания. Там застали его и трагические события: политические волнения, еврейский погром 1905 года. Рассказ Нюренберга "Погром" об известных событиях в Одессе в октябре 1905 года стал уникальным свидетельством очевидца. Автор сумел передать испытанные им ужас и унижение. В исключительной ситуации он не потерял самообладание, а был готов к са-

мообороне и даже мечтал о мщении. Именно в связи с первым пережитым погромом зародились социалистические убеждения Нюренберга, приведшие его позднее к участию в революционном процессе.

В 1919 году еврейский погром произошел и в родном городе художника. Нюренберг уже не жил в Елисаветграде и описал события со слов родителей, которых приехал навестить:

Мать и отца я нашел в подавленном состоянии. После погрома они пожтели и осунулись. Много печального рассказала мать в тот вечер. Медленно скатывались крупные слезы на ее голубую кофту. Отец курил и изредка шептал: "О Боже мой! О Боже мой! Где ты был во время погрома? Не стыдно тебе!". Молча слушал я сетования отца на Бога. В горле закипали слезы.

(А. Нюренберг. Одесса – Париж – Москва. М., "Мосты культуры", 2010, с. 190)

Родители рассказали сыну, что пострадали многие друзья. Погиб школьный учитель рисования Нюренберга, собиравший его ранние рисунки. На глазах у его друга, художника Зоси Константиновского, были убиты отец и брат. Тот успел убежать, но чуть не сошел с ума. После этого они с женой поспешили оставить родные края.*

Сами родители не пострадали, но судя по сохранившимся документам, так до конца дней и не смогли оправиться от шока. Из письма сестры Анны брату Амшею 10 июня 1920 г. (из Елисаветграда — в Москву):

*Мама и Папа немного изменились, поседели и побледнели. Особенно папа после Яшиной** болезни изменился. Теперь — неполучение вестей, неполучение рыбы вовремя, все волнует его и тревожит.*

Если бы можно было Маму и Папу отправить на поправку куда-нибудь, было бы хорошо.

Мать утратила волю к жизни и умерла в Елисаветграде в 1922 году. Дневниковая запись Нюренберга за этот год была печальной:

Никогда уже мне не говорить "мама" или "мать". Мать умерла 26 января в 6 часов утра, не приходя в сознание.

(А. Нюренберг. Одесса – Париж – Москва. М., "Мосты культуры", 2010, с. 272)

Нюренберг часто писал старых людей. Изображая старых супругов, представлял себе своих родителей. Такова была картина Нюренберга "Ужин" (1930 год, Третьяковская галерея). Двое пожилых супругов запечатлены за скромной трапезой и за разговором, который мог сводиться

* Иосиф Константиновский покинул Одессу в 1919 году на корабле "Руслан", в трюмах которого меценат одесских художников Яков Перемен увозил в Палестину свою коллекцию. Там же были и ранние полотна Нюренберга.

** Яков — младший брат Амшея.

к следующему: муж строил перед женой очередные "воздушные замки", та соглашалась, устало кивая головой:

Никогда не увянет в моей памяти печальный образ моих пострадавших стариков. И теперь, когда я пишу или рисую старых людей, передо мной ярко оживает этот непотухающий скорбный образ.

(А. Нюренберг. Одесса – Париж – Москва. М., "Мосты культуры", 2010, с. 190)

Определенную роль в развитии взглядов Нюренберга сыграли беседы, которые вел с ним сосед по комнате социалист-портной Минастянц. Это он открыл молодому Нюренбергу глаза на несправедливое устройство общества и советовал писать портреты бедных людей, лица которых считал более значительными, чем лица богачей ("Одесса. Осень 1904").

За свою жизнь Нюренберг написал целую галерею портретов бедных и старых людей, которых называл "рембрандтовскими стариками". Когда Рембрандт начал писать портреты стариков и старух, это вызвало недоумение у его современников. Тогда были в моде парадные портреты знати и богатых горожан. И во времена социалистического реализма не было принято писать портреты старых, больных и инвалидов. Однако Нюренберг оставался убежденным хроникером украинских местечек, воссоздавая образы, увиденные им в детстве, которые он объединил позднее в серию "Юдаика" (в современной транскрипции – "Иудаика"). Одна из лучших картин этой серии имела два названия – официальное "Инвалид войны" и неофициальное "Жертва еврейского погрома". В 1927 году эта картина была выставлена в парижском Осеннем салоне.

Из неопубликованного дневника А. Нюренберга:

1936. Осень.

Приехали из Немирово, где провели неплохих два месяца.

*Писал евреев. Чудесный, живописный материал! Какие руки, шеи и глаза. Ах, как жаль, что я раньше не занимался этим матерьялом. Я только теперь вошел во вкус. Как жалко, что столько лет было потрачено зря на разные безделушки, никому не нужные, никого не волнующие. Написал триптих из Гражданской войны: 1. Еврей-партизан уходит на фронт и прощается с семьей; 2. Еврея, тяжело раненого, привозят домой. Его встречает семья. Осень за окном. Привозят русские товарищи; 3. Новая жизнь, после всех трудов – веселье. Танцует молодежь. Молча, грустно-радостно наблюдает старость.****

*** А. Нюренберг "Счастливая юность", масло, 1936 год, находится в музее г. Запорожье.

Рассказы Нюренберга отмечены особым стилем. Пишущий художник отличается от профессионального литератора. Для художника природа — всегда пейзаж. Со своими красками, композицией, драматургией:

С моря налетел холодный сырой ветер. Он приволок две тучи, окрашенные сажей, и нелепо растянул их над восточной частью города.

(“Погром”)

Во время печальных событий:

Небо висело, как серая простыня.

(Там же)

А человеческое лицо для художника — это предполагаемый портрет, который ему было бы интересно написать:

Руководитель школы маляра Глинянный — человек добрый с робкими темно-коричневыми застенчивыми глазами, сухим лицом и нахмуренным низким лбом, навевавшим воспоминания о ноябрьском степном небе, встретил меня неприветливо.

(“Елисаветград”)

Неодушевленным предметам Нюренберг умел придавать собственный характер, используя неожиданную красочную метафору. Он не раз рассказывал о том, что его друг парижанин Марк Шагал воспринимал “витебские заборы” как своих друзей, о которых тосковал вдали от родины. Нюренберг считал своими друзьями деревья (серия “Деревья и люди”), которых он нарисовал множество. Также его друзьями были солнце, небо, ветер, облака, которые он наделял человеческими качествами:

Солнце, неуклюжее окоченевшее, ежась и озираясь, медленно ползло в свою конуру. Ему, как и нам, вероятно, не совсем приятно вспоминать об этих двух днях. Оно выражало сожаление.

(“Погром”)

Нюренберг редко жаловался на судьбу, предпочитая выражать свою печаль в иносказательной форме. Так отъезд из родного дома, отрыв от семьи, его грусть и опасения по этому поводу были им переданы в описании небывалого заката и движения отходящего поезда:

Когда вагон, скрипя, медленно отошел от того места, где стояли близкие мне люди, и я взглянул на зарево, мне показалось, что все небо облитое керосином и горит. Мне даже почудилось, что я чувствую запах гари.

(“Елисаветград”)

В рассказах Нюренберга много смешного и грустного. А выручало его в трудную минуту всегда одно — самоирония. Свойство истинного одессита.

* * *

В 1920 году Амшей Нюренберг и его жена Полина Мамичева окончательно перебрались в Москву. Тем не менее, Париж и Москва не заслонили родной Елисаветград и Одессу. Нюренбергу всегда хотелось приехать в места его юности.

В 2009 году я познакомилась с киевским искусствоведом Людмилой Ковальской. Она рассказывала о встречах с Нюренбергом в 1970 году в Москве, куда приезжала, чтобы забрать его работы для киевского музея. Он заинтересованно расспрашивал ее: "А эти сапожки у вас с Украины, а эта косыночка с Украины?". Он была молодая и франтила. Поэтому отвечала с гордостью: "Нет, из Италии". А ему хотелось, чтобы она привезла ему с собой кусочек Украины. Она только потом осознала, что он тосковал по родным местам.

Она же рассказывала, как Нюренберг прочитал ей вслух письмо к нему Марка Шагала. В этом письме ее поразило то, что Шагал спрашивал старого друга: "Как там у нас?" — подразумевая под этим вопрос — "У нас на Родине?". Живя уже столько лет во Франции, он продолжал ощущать своей родиной Россию. Такова была сила привязанности художника к месту своего рождения, детства.

О ранних картинах Нюренберга, как и о его ранних рассказах, долгое время ничего не было известно. Лишь после ретроспективной выставки "Одесские парижане" коллекции Якова Перемена в 2006 году в Израиле выяснилось, что многие из них сохранились. Похожая судьба постигла рассказы Нюренберга и письма Беренса, многие годы лежавшие в архивах.

Существует некая логика в том, что надолго забытые картины "одесских парижан" попали во владение киевского коллекционера Андрея Адамовского. Также и экспозиционные залы Кировоградского художественного музея вновь открылись для художника-земляка Амшея Нюренберга. У картин началась новая история, а имя художника и литератора оказалось тесно связанным с родными местами, которые он покинул в юности. Хотелось бы верить, что возвращение Нюренберга в Украину будет счастливым.

Елисаветград

Мне было 15 лет, когда я пришел экзаменоваться в малярную школу имени богача Фирсова, ее основателя.

Мне хорошо памятен этот день. Было туманное розовое утро. Матовое, точно марлей затянутое солнце, голубые дымки над сонными еще, сутулыми домишками, спешащий на службу и базар народ и бодрящий аромат умирающего лета. В такое утро мне и экзамены рисовались розовыми и легкими. И с сердцем, полным радости, я легко взобрался на горку, где находилась школа.

Руководитель школы маляр Глинянный — человек добрый с робкими темно коричневыми застенчивыми глазами, сухим лицом и нахмуренным низким лбом, навевавшим воспоминания о ноябрьском степном небе, встретил меня неприветливо.

— Где вы раньше учились? — угрюмо спросил он меня, внимательно разглядывая свои большие грязные ногти.

— Во втором казенном, — робко ответил я.

— Вас... что же вытурили оттуда?

— Нет, я ее окончил.

— Ага. Ага-а-а. А краски и кисти у вас есть?

— Нет, я куплю.

— Ну, добре. Берите пока казенное добро. Только помните: не очень рыпайтесь... и дурака не валяйте.

И после паузы добавил:

— Не стройте из себя таланта и не думайте, что художником заделаетесь за две недели.

Он смачно, с достоинством сплюнул, неспешно растер ногой и как-то особенно музыкально крикнул. Затем подал мне небольшой лист плотной бумаги и палочку угля:

— Берите и садитесь.

Я сел. Измазанные "пробами тона", как в малярных мастерских, стены, загрунтованные мелом холсты и жестяные вывески, старенькие выцветшие олеографии и три-четыре больших полотна — беспомощные копии с картин Айвазовского и Шишкина. На двух сосновых мольбертах, стара-

* Орфография и синтаксис оригинала сохранены. (О. Т.)

тельно измазанных грязными красками, стояли неоконченные работы. Натюрморт — разрезанный на две неравные части пунцовый арбуз с маленькими миндалевидными черными косточками, два ярко изумрудных персика и один тяжелый черно-лиловый баклажан. Все это было сложено под не совсем чистым полотенцем, щедро расшитым пестрым украинским узором. Пахло вареной олифой, столярным клеем и гуашью. Я жадно разглядывал мольберты, палитры со спектрально расположенными красками, пестрые копии с известных художников, олеографии. Я с наслаждением вбирал в себя все запахи, вызвавшие мое глубокое уважение к школе и ее руководителю.

С большим волнением я начал рисовать натюрморт. Воля меня покинула. Я ждал неудачи. Уголь плохо приставал к бумаге, резинка не счищала, а пачкала, линии контура мне показались расслабленными, неуверенными. Я чувствовал, что проваливаюсь.

— Ну, что же, приходите завтра с кистями и бумагой, — услышал я позади себя хриплый, придавленный голос.

Я оглянулся. В светившихся небольших глазах Глинянного я прочел одобрение и дружбу. Мною овладело состояние, похожее на счастье. Розовое радостное утро не обмануло меня.

Через неделю я уже писал копии с "Лунной ночи" Айвазовского, грунтовал жезь для вывесок и изучал несложное малярное дело. Надо признать, что Глинянный своей педагогикой нас особенно не утомлял. Учеба не блистала сложными методическими принципами. Обычно занятия происходили так: Глинянный давал ученику кусок полотна или бумаги, кисти, палитру с выдавленными на нее акварельными или масляными красками, потом брал ученика за рукав, подводил к поставленному на стол натюрморту и сухо, небрежно говорил:

— Намалуйте вот это.

И все. Конечно, ученик, если он плохо знал ремесло, должен был себя чувствовать как человек, которого, чтобы научить плавать, бросают в глубоководную реку. Талант есть — выплывешь. Ко дну пойдешь, не удержавшись на поверхности — значит прослывешь бесталанным.

Живопись и акварель у нас считались лакомыми блюдами. Этим мы имели право заниматься после основных занятий, т. е. после занятий по изучению малярного, вывесочного и альфрейного дела**. Разумеется, мы все делали, чтобы увильнуть от этих занятий.

** Декоративная отделка интерьеров.

Глинянный аккуратно воевал с нами:

— Раньше вывески и окна, черти окаянные, а потом пейзажи и портреты, — с улыбающимся лицом говорил он, — вы, как и я, с удовольствием бы взялись за картины, но это отвлекает от учебы.

Порой, когда его упрямство ему самому надоедало и воевать с нами ему казалось слишком утомительным, он сдавался:

— Ну, черт с вами. Малюйте картины.

Несомненно, он сам любил живопись, хотя ясно не понимал, в чем она заключается. Он не знал, чем он может помочь, хотя готов был это сделать. Особенно он любил атмосферу творчества. Ему нравилось готовить натюрморты: ходить на рынок, покупать яркие ароматные яблоки, груши, дыни и арбузы, потом раскладывать их в "живописном беспорядке" и наблюдать, как нестриженные молодые ребята их малюют.

Как-то раз я к нему пристал:

— Аксентий Родионович, скажите, какие правила существуют для того, чтобы научиться хорошо писать картины?

Он почесал свое хмурое небритое лицо, прищурил темно-коричневые глаза, показав еле уловимую улыбку:

— Пишите так, как в природе. Вот. И вы станете настоящими художниками. Чтобы рукой можно было взять. Поняли. Вот вам все правила.

И мы стремились написать так, "чтобы рукой можно было взять".

Ровно через год я сдал экзамен на звание живописца вывесок. Экзаменовавшийся должен был зашпаклевать и загрунтовать лист жести, набитый на подрамник, и написать по выбору (такие существовали в школе традиции) сценку бритья или франта из модного журнала.

Сценка бритья изображалась так: в богатом кресле непринужденно, как подобает шикарному аристократу, сидел красавец брюнет, изящно обвязанный белоснежной простыней. Над ним — почтительно склоненный элегантный парикмахер, в грациозных руках которого блистала бритва. Слева от фигур — дорогое зеркало и шкафчик, встречаемые только в домах купцов первой гильдии.

Изображение франта требовало не меньшего творческого напряжения. Надо было дать тип модника-иностранца. Обычно ученики эту проблему решали по шаблону, выработанному самим Глинянным. Американского покроя темно-серый костюм и приделанная к нему голова красавца-шатена в высоком черном цилиндре, яркие желтые перчатки и изящная трость. Франт изображался в профиль на фоне роскошного парка.

Я остановился на фронте. Через три дня вывеска была готова. Осмотрев мою работу, Глинянный ухмыльнулся и ехидно сказал:

— Вам, Нюренберг, будут больше удаваться портреты старьевщиков и раввинов.

В поисках работы я ходил по мастерским живописцев вывесок. Однажды я узнал, что инженеру Гольденбергу, любителю живописи и музыки, нужен живописец вывесок. Говоривший это тут же добавил, что "нужен работник первого сорта, с золотыми руками". Оглядев свои руки и придя к невеселому выводу, я все-таки решил испытать судьбу и отправиться к инженеру Гольденбергу.

Отец мой посоветовал мне одеться женихом и привести в полный порядок мои праздничные штаны, одеть черную суконную тужурку, сшитую одесским портным Гершале Спиваком, и начистить ваксой свои штиблеты "так, чтобы вся улица в них отражалась".

Инженер Гольденберг меня принял в кабинете, похожем на магазин случайных вещей. В его круглой и мягкой руке лежал массивный серебряный портсигар, усеянный золотыми монограммами, на носу блестело золотое пенсне, во рту сигаретка.

— Вы искали опытного живописца вывесок? — робко спросил я.

— Да, именно опытного, — ответил он, нажимая на слово "опытного". Голос у него был мягкий.

— Я верю, что Вы меня за работу ругать не будете, — нерешительно сказал я.

— У вас есть образцы вашей работы?

Я подал ему картонную папку с моими акварелями и рисунками. Это были копии с открыток и олеографий, висевших у нас дома. Помню среди акварелей копию с гравюры, украшавшей нашу залу. Это была сцена из голландской жизни. С тех пор у меня осталась любовь к голландским серым зимним пейзажам.

Он внимательно рассмотрел все мои работы и с чувством, свидетельствующим о его любви к живописи, внушительно сказал:

— Что же, человек вы способный... Я думаю, что вы мне фасад не испортите. Хорошо. Беритесь за работу. В добрый час.

Я разглядел его. Небольшая лысина, умные убеждающие глаза и доброжелательные семитские губы. Некоторые болезненность и усталость, заметные в его движениях, придавали ему оттенок печали. Не знаю почему, но в этот момент я решил, что он должен стать моим меценатом.

Сумма, предложенная им, показалась мне головокружительной. Пряча свое радостное волнение, я долго собирал и складывал свои работы. Он дружественно протянул мне свою круглую руку.

Я приступил к "фасаду". Надо было написать четыре сложных машины, тонко вырисовав все детали и гайки, и около 120 букв различного стиля и размера. Первая машина (нефтяной двигатель) в серо-черных и зеленых тонах была готова через три дня. Работал я с увлечением и любовью.

Инженер Гольденберг приходил в мастерскую, устроенную в магазинном складе, ежедневно. И, усевшись позади меня, долго смотрел, как я работаю, курил короткие светло-шоколадные сигаретки и давал указания:

— Машина, мой юный друг, любит точность. Это вам не пейзаж. Гаечку пропустите, и работа уже не та, не годится.

Вывески писал я долго, месяц, а может и дольше. Порой мой работодатель (когда коммерческие операции ему не удавались и жена хворала) был похож на осеннюю тучу, отраженную в нашей мутной речке Ингул. Тогда он меня иронически называл "маэстро":

— Знаете, маэстро, — насмешливо начинал он, — ваш нефтяной двигатель мне напоминает опрокинутый старый биндюг. Ой, боюсь вы задрипаете весь фасад лучшей в Елисаветграде технической конторы.

Нужно ли рассказывать, как на меня такие слова действовали?

Но такие нерадостные дни тянулись недолго. Гольденберг долго не мог дружить с печалью, и скоро его губы и глаза опять всем улыбались.

— Вы молодец! Я недаром почувствовал в вас тонкого художника. Вам обязательно необходимо поехать в Одессу. Там вы скоро сделаетесь человеком. В этой дыре таланту нечего делать.

И я, убаюкиваемый этой сладкой лестью, незаметно для себя отрываясь от работы, живо рисовал себе далекую сказочную Одессу, где можно скоро сделаться человеком. Одесса мне казалась городом, равным Нью-Йорку, Парижу. В возбужденном горячем мозгу рождались фантастические образы длиннейших улиц и небоскребов. По асфальтированным улицам неслись толпы спешащих, хорошо одетых, тщательно умытых и выбритых счастливых людей. У каждого из них в руках обязательно желтые перчатки и изящная трость. Над ними ярчайшее солнце, но они так счастливы, что им даже лень, а может, некогда глядеть на него. Пусть себе, мол, сияет!

Как-то раз после обеда вернувшись в мастерскую, я нашел моего заказчика озабоченным и чуть взволнованным. "Опять неудачная операция", — подумал я.

— Ну, юный друг, в ближайшие дни кончайте вашу работу. Ваше дело в шляпе. Радуйтесь — вы едете в Одессу.

Я почувствовал, как у меня поднимается температура. Я онемел.

— Да, вы едете в Одессу и будете учиться в Художественной школе. Ваши рисунки видел один богатый немец. Они ему очень понравились. Он даже купил одну акварель и уплатил пять рублей. Вот они.

На розовой ладони блистала, точно кусочек солнца, золотая монета. Одесса стала мне близкой... Я еду учиться... Температура все повышалась. Кровь зазвенела в ушах.

Кто был этот первый коллекционер, заинтересовавшийся моей судьбой? Зачем я ему понадобился? Я бросился домой.

Отец первым делом потребовал, чтобы я свой золотой спрятал на счастье или приобрел на все пять рублей выигрышных заграничных билетов:

— Чем черт не шутит, — говорил он, как обычно ковыряя спичкой в ухе в моменты волнения, — вдруг мы все разбогатеем, и тебе, сынок, не придется писать вывески. Ты сможешь сдать экстерном за восемь классов гимназии и потом поступить в университет. Выйти в люди. Все может случиться.

Но мать, не знавшая тяжелого плена тщеславия, ему убеждающе отвечала:

— Чего ты пристал к мальчику? Не понимаю. Нашелся человек, который хочет помочь ему достигнуть цели — и пусть. Пусть он едет в Одессу. Счастливого пути!

Вечером за ворчливым шарообразным самоваром на семейном совете было решено, что я должен непременно ехать в Одессу.

Сестры бережно упаковали мои вещи. Их нежная заботливость и любовь ко мне не могли прикрыть нищету, выглядывавшую из всех щелей моей небольшой старенькой корзины. И, после недолгих размышлений, я решил обшить ее мешковиной. Подушка, солдатское одеяло неуловимого цвета гнилой свеклы и короткое зимнее пальто на бумажной рыжей подкладке.

Пышные проводы носили трогательный характер. Отец, мать, сестры, пес Жук и золотистый закат. Незабываемый осенний закат, пришедший с облаками, полными радости и веры в мои одесские дела.

— Ну, Амшей, будь трудолюбив. Помни, сын, — начал отец иронически, — что родители у тебя ни в каком родстве с Ротшильдом не состоят и что у Когана в банке я пока что кредитом не пользуюсь. А потому учись и не трать время на глупости. Если этот немец-чудак действительно тебе будет помогать — то это редкое посланное самим Богом счастье!

Во влажных глазах сестер и матери сверкала радостная печаль. Звонки. На ярко светящемся циферблате две упавшие вниз жирные стрелки. Грохот окутанного паром добродушного паровоза.

— Не забудь печенья, оно в газете.

Меня обнимают. Я на площадке ярко зеленого новенького еще пахнущего машинной краской вагона. Последним прощается закат. Когда вагон, скрипя, медленно отошел от того места, где стояли близкие мне люди, и я взглянул на зарево, мне показалось, что все небо обито керосином и горит. Мне даже почудилось, что я чувствую запах гари. Но через несколько минут голубо-оранжевое пламя погасло. Облака потемнели, посерели, и город, только что казавшийся мне выкованным из червонного золота, потускнел и почернел. Я не ожидал таких торжественных и смутивших меня чувств.

Одесса. Осень 1904 г.

Я поселился на Польском спуске, 12, в большой прокопченной дымом и временем комнате. В ней, как во всех одесских комнатах, сдававшихся в наем, всегда пахло несвежим бельем и жареным луком. Из окна, уставленного геранью и бутылками, был виден порт с уходившими и приходившими иностранными пароходами. Можно было ежедневно глядеть на море с кораблями. Это меня соблазнило, и я внес задаток. Условие — за полный пансион 10 рублей в месяц. Платить будет мой протектор немец Беренс.

Живу и знакомлюсь с моими соседями. Латыш Эд. Высокий, жилистый человек с почти квадратным сухим лицом. Пасмурный, неразговорчивый. Как потом выяснилось — человек совершенно неуловимых дел и таинственных профессий. Он исчезал рано, чуть свет, и возвращался вечером. Придя домой, он тщательно и глубокомысленно осматривал свою изношенную обувь, потом долго и как-то солидно мыл свои потные ноги, причесывался, ковырял зубочисткой в зубах и, наконец, когда он от всех этих процедур уставал — ложился на старый косолапый диван, служивший ему кроватью, и читал скучнейшие книги — приложения к журналу "Родина". Питал он неисчерпаемую нежность к длинным любовным письмам и в дневные часы, когда нас не было, с увлечением их писал на кремовой бумаге.

Когда его спрашивали: "Эд, где ты пропадаешь?" — он спокойно отвечал: "В порту работаю, брат". Но никто из нас ему не верил.

Более яркой и ароматной личностью был армянин Минастянц. Среднего роста, улыбочивый и приветливый. Портной. Работал в мастерской богача Ландемана. Он называл себя "социалистом" и аккуратно посещал политические лекции и доклады.

Третьим соседом был великоросс Попов. Высокий, крепкий ширококостный, голубоглазый дядя. Манеры у него были приказчика гастрономического магазина. Его главной специальностью, кажется, было исключительное умение живо и картинно рассказывать анекдоты. Он их знал тысячи. Домой он являлся чаще всего в 12-1 ч. ночи, шумно и весело напевая воровские или проститутские песенки. Когда он находил нас спящими, он бесшумно раздевался и в нижнем белье медленно с высоко поднятой головой, точно совершая какой-то ритуал, обходил нас, стаскивая с нас одеяла.

— Проснитесь, сукины сыны, есть новый анекдот! Замечательный!

Мы громко ругались, но он был неумолим. И мы должны были, ежась и дрожа от холода, выслушивать новый замечательный анекдот.

Хозяйка наша Ольга Павловна, толстая с желтым и запавшим лицом женщина, кормила нас такими обедами, что все мы должны были носить в кармане пузырек с каплями Иноземцева. Когда изнуренный желудочными коликами добрейший Минастянц страдальчески говорил ей: "Ольга Павловна, что ты, милый человек, кладешь такое в твой суп, что мы всю ночь бегаем?", хозяйка с лицом, полным изумления и возмущения, отвечала: "Не понимаю, в чем дело? Продукты свежие, посуда чистая! Это вы где-нибудь схватили в паршивых обжорках и на меня сваливаете".

— Эх ты, Минастянц Минастянцевич, да неужели ты не понимаешь, что наша Ольга Павловна нам готовит не на сливочном, а на резинном масле? — насмешливо говорил Попов.

— Ничего вам до самой смерти не будет, — скороговоркой победоносно отвечала она.

Минастянц со мною часто говорил о жизни, о бедности, о бедняках и богачах. Меня поражали его яркие мысли о религии. Он отрицал существование Бога и жестоко высмеивал все человеческие добродетели.

— Бог, — говорил он хриплым голосом, — выдуман богачами. Он им нужен. Бедным людям Бог нужен, как чирей на заднице. Что он им может дать? Ничего. Синагога и церковь — это цирки.

Он пламенно ненавидел полицейских, жандармов и глубоко верил, что рано или поздно им будет мокрый конец. "Ничего, доживем до того дня, когда я на них верхом покатаюсь. Вот уж покатаюсь".

К художникам и ко мне, в частности, он относился очень тепло:

— Жалко художников. Они много голодают.

Слово "много" он произносил нараспев.

— Ты, — обращался он ко мне с окутанным лаской и добротой лицом, — ты должен рисовать только бедных людей. Художник, по-моему, должен быть певцом бедных. У бедных людей есть большое сердце. В глазах бедных всегда горит человеческий огонь. Да. Если бы я был художником, я бы рисовал только бедных, голодных, оборванных и калек. Я не могу объяснить вам, но чувствую, что они на картинках должны выходить лучше.

Когда наступили сильные холода и на окнах появились узоры, будившие воспоминания о детстве, мы упрасивали хозяйку:

— Ольга Павловна, положите лишнее поленце в печь. Мерзнем, как местечковые собаки.

— Такие бравые и молодые ребята и так мерзнут. Стыдно, — отвечала она. — Берите еще одеяла.

И мы, ругая ее крепкой бранью, отставали от нее.

* * *

Мою жизнь в Одессе нельзя было назвать блестящей. На каждую горсть радости судьба, в то время не ладившая со мной, отпускала мне тонны неприятностей и горя.

Я плохо питался. И только мой крепкий организм, неистребимая бодрость мяса и нервов меня поддерживали. Я приобретал зверские желудочные болезни и как-то лихо и весело расставался с ними. Моими дежурными блюдами были изюм мелкий, так называемый кишмиш, и сельди. Эти продукты я получал в неограниченном количестве. Но я не мог злоупотреблять связывавшим меня доверием лавочников, и брал столько, сколько мне нужно было.

Я не всегда мог писать натуру. Красок не хватало, особенно белил, ухививших во время работы в большом, пугавшем количестве.

Но все это меня не так волновало, как вопрос об одежде. Я скоро понял, что ходить по улицам с пустым желудком не страшно, а, разумеется, можно. Но ходить по улицам в старых, грязных, цвета половой тряпки штанах и в рубахе, рождающих даже у спешащего пешехода невеселую мысль о цвете и запахе нищеты — никак нельзя.

У меня завелась рыжеволосая курсистка. От нее, так мне казалось, пахло свежим запахом трав. У нее были кошачьи глаза, обещающие все

земные и неземные радости. Мне хотелось предстать перед ней обязательно в светло-синих, диагональных штанах.

* * *

В школе я делал заметные успехи. Быстро переходил из одного класса в другой. За год я дошел до натюрмортного класса и удостоился весьма теплых отзывов.

В первом классе занятиями руководил итальянец Иорини. Обаятельная и добрейшая личность. Очень высокий, с сильно согнутой временем и пережитым спиной, круглый череп, слабо обтянутый старческой землесто-желтоватой кожей. Простой, до наивности доверчивый и необычайно рассеянный. Ни семьи, ни друзей у него не было — только доброжелательно посмеивавшаяся над ним живопись и безгранично любившие его ученики.

Он свирепо не любил высшего начальства и держался по отношению к нему очень независимо. Ему доставляло большое удовольствие глядеть на него сверху вниз. Учтивая его заслуги перед скульптурой и особенно его преклонный возраст, оно мирилось с его мятежным характером. И терпело его.

Все мы широко пользовались его кошельком, точно забывая, что деньги, лежавшие там, нажиты его горбом и морщинами. Часто в его классе можно было услышать такой диалог:

— Мосье Иорини, что делать? Хожу почти босиком. Денег на покупку обуви нет... Холодные дожди...

— Ай, ай, ай, — слышен был хриплый старческий голос, — как можно, босик? Плѣхо, плѣхо. На, бери пять рублей. Пойди, купи.

Его метод преподавания, построенный на старых академических принципах, казался нам скучным. Но задушевная искренность и всепоглощающая любовь к искусству этого редкого человека делали то, чего не могли делать лучшие методы преподавания рисования. С Иорини я скоро, не без грусти, расстался, перейдя в основной гипсовый класс.

Здесь я два месяца работал под руководством бесцветного и апатичного Попова, автора бессмысленных морских видов. Он подписывал свои пошлые морские пейзажи холодной подписью "А. Попов".

Четвертым натюрмортным классом руководил известный акварелист Ладыженский. Это был крайне нервный, желчный и как динамит вспыльчивый человек с лицом старой хитрой маргышки. Его замумифицированное сердце редко давало чувствовать себя и казалось мертвым. Его слова,

напитанные ядовитой слюной, в состоянии были вывести из терпения самых толстокожих людей. Он избегал общества и почти всех людей рассматривал, как своих личных врагов. Но его класс пользовался заслуженным авторитетом, и оценка, данная Геннадием Александровичем, решала участь учащегося.

Особенно свирепо он относился к печати и к газетчикам:

— Мерзавцы, продажные шкуры! Дашь им целковый, и они вам все места вылизут, — фыркая и заикаясь, говорил он. — Они губят художника. Они никогда по-настоящему не любили ни художника, ни великого искусства. У-у... Сволочь...

Он выпивал. И мы, зная его слабость, порой зло шутили над ним. Вытаскивали из его кармана небольшие бутылки с водкой, выливали их содержимое в натюрмортные вазы, а их наполняли чернилами или водой и клали ему опять в карман.

Живопись он ставил выше всего. Он горячо и вдохновенно любил сияющую многокрасочную живопись. Как и Делакруа, он считал, что враг всякой живописи — серое. Это он на всю жизнь привил нам почтительную любовь к старым венецианцам и французам. Он не признавал хорошей живописи с плохой поверхностью. "Натюрморт, — говорил он, — это не только цвет, но и поверхность".

— Если картина хорошо написана, надо чтобы все знали об этом, надо трубить... А если вещь плоха, дрянь, то надо говорить откровенно: перед нами — дерьмо.

Из русских художников он высоко ставил Репина, Врубеля, из французов — Делакруа, Коро, из немцев — Менцеля, Лейбля.

— Какая манера! — восторженно говорил он. — Какая манера-а-а! Менцель! Гений! Да, гений. Такие художники рождаются раз в сто лет. Вот у кого нужно учиться работать. Какой живописец, и какой рисовальщик! Редкое сочетание! Одним словом — гений!

И мы, не выдавшие ни одного оригинала этого расхваливаемого гения, бросались в школьную библиотеку и жадно (взасос) глядели и изучали фотографии с работ Менцеля.

Ладыженский любил сам ставить натюрморты. У него был огромный старомодный ореховый шкаф, доверху набитый разноцветными тканями, тряпками, металлическими кувшинами и китайскими вазами всех веков и стилей. Он любил долго рыться своими сухими и почти белыми руками в шкафу, вытаскивая и разглядывая то одну, то другую вещь. Он напоминал антиквара в своей лавке.

— Вот умру, — грустно и протяжно говорил он, — тогда берите все: и парчу дорогую, и китайский фарфор...

Он высоко ставил способных учеников, но зверски грубо обращался с неспособными и малоуспевающими. Особенную ненависть он испытывал к франтившим ребятам:

— Вам, господа в хороших тужурках с белыми воротничками, нечего здесь делать. Идите себе в коммерческие школы. Надо иметь право заниматься искусством. А у вас этого права нет и никогда, уверен, не будет.

Своих учениц он называл — невестами. Он их грубо, цинично и всеми средствами, как и "тужурщиков", выпроваживал из своих двух мастерских.

— Чего-о-о вы, девочки, время до-о-орогое теряете? Женихов надо искать!

У него были свои любимчики. И он любил о них долго, горячо говорить. Особенную симпатию он питал к Фошко*, тринадцатилетнему неопрятному мальчику с большой гривой взлохмаченных черных волос.

— Фошко-о-о. Это изюминка. Божья искорка. Та-а-алант. Хранить надо. Прятать от женщин надо. Та-а-алант.

В редкие минуты благодушия он надевал огромные оловянные очки и внушительно и степенно, как подобает мэтру, покашливая, присаживался к Фошко и помогал ему писать. Холст прыгал на мольберте под нервными ударами кисти его прозрачных рук и становился все более ярким и радужным. В такие минуты все мы амфитеатром устраивались позади него и ревниво глядели на его изумительную работу.

Погром

Повсюду говорят о больших политических событиях. Манифест, вырванный народом из рук растерявшегося и струсившего царя, трещины в троне, присмирившая жандармерия, торжество Государственной Думы и обезумевшие от счастья две столицы.

"Народ, — пишет газета "Одесские новости", — наконец-то получил то, за что столько лет боролся — свободу".

На улицах и в парках, в пивных, трактирах и кафе густые толпы возбужденных с горящими глазами людей. На Ришельевской улице группа

* Иосиф Фошко (1891-1971), художник. Родился в Одессе. После окончания Художественной школы в возрасте шестнадцати лет получил стипендию для обучения в Париже. Имел персональные выставки во Франции и США.

хорошо одетых людей неистово с радостным ревом качала какого-то пожилого седого офицера. Смешно было видеть, как его тяжелая круглая туша взлетала над шляпами и тяжело погружалась в них.

Но радоваться Одессе долго не суждено было. Вечером подул ветерок. Слухи, слухи, сеявшие в сердце тревогу и опустошение. У ограды городского сквера я слышал, как один хорошо выбритый мужчина в светлой шляпе говорил другому такому же:

— Ой, их будут бить. И как бить. Заплатите жидки. Будет вам свобода!

Вечером уже дул свирепый ледяной нордост. Город почуял несчастье и притаился. Над ним быстро плывущие со стороны моря сине-черные облака. Точно они знают о готовящемся и спешат на то место, где это несчастье должно случиться. Первые зрители погрома.

Сухие звуки оружейной пальбы растут и бегут к нам, в центр. На Молдаванке, говорят, начался погром. Бритые господа были правы. Ночью часов в 10 была получена бодрящая весть: "Погром ликвидирован, убитых нет, есть раненые. Срочно организуйте самооборону, держите связь. Будьте готовы".

Я бросился к друзьям. Меня познакомили с районными организаторами самообороны. У них я узнал, что оружия уже нет, что револьверы "до единого расхвачены" и что остались железные палки. Я взял железную палку.

Я жил на Ново-Рыбной улице в семье дальнего родственника. Как раз против ворот нашего дома находилось жандармское управление, в эти дни напминавшее штаб действующей армии. Здоровые огромные усатые верзилы то вбегали в ворота управления, то выбегали из них.

Помню скорбное осеннее утро. Небо, похожее на грязную простыню, и пустынные улицы, производившие впечатление зараженных и брошенных жильцами катакомб. Было около 8 часов утра. У наших ворот стоял знакомый молодой человек с заспанным желтым лицом, член самообороны. Он рассказал мне, что жандармы всю ночь готовились к работе, пробовали свои тяжелые наганы:

— Пили водку и пели "Коль славен". А знаете, — закончил он, — когда жандармы пьют водку, поют царские песенки и стреляют в своем тире, то надо ждать еврейской крови...

Он не ошибся. В это утро она уже была пролита. По Ново-Рыбной я дошел до Пушкинской. Со стороны Ришельевской доносился шум. Шум, холодающий сердце. Через несколько минут я увидел толпу убийц.

Портрет царя и хоругви плясали в их охмелевших и обессиленных руках. Рев, гиканье — точно в зверинце в час кормления. Момент — и мне казалось, что вся эта сумасшедшая орава — статисты на открытой сцене оперного театра, управляемые опытным и ловким режиссером, что они кувыркаются и поют дикие и пьяные песни по его заданию — и что через несколько секунд, когда зрителю все это надоест — они быстро улизнут за боковые декорации. Но, увы! Статисты эти, ведомые жандармами и полицией, в руках, измазанных свежей, еще теплой детской кровью, держали огромные железные ломы и сеяли настоящую, а не театральную смерть.

Впервые в жизни вижу еврейский погром. Незабываемая картина!

На серой мостовой, казавшейся равнодушной и присмирившей, разбитые фанерные ящики, старое длинное зеркало без стекла, с торчащими зазубринами, кучи разноцветной бумаги, пятна крови на разодранных подушках и пух, поднимавшийся высоко-высоко в грязное небо.

С тех пор церковные хоругви и портрет Николая стали в моем сердце ассоциироваться с еврейским пухом.

Вечером, на третий день погрома. Солнце, неуклюжее окоченевшее, ежась и озираясь, медленно ползло в свою конуру. Ему, как и нам, вероятно, не совсем приятно вспоминать об этих двух днях. Оно выражало сожаление. Как только оно исчезло за почерневшими крышами, с моря налетел холодный сырой ветер. Он приволок две тучи, окрашенные сажей, и нелепо растянул их над восточной частью города.

Ночью шел дождь, помогший всем умыться и придти в себя. Впечатление создалось такое, что все устали. И убиваемые, и убийцы, и мы все, и улицы, и небо, и кареты скорой помощи. Всем захотелось отдохнуть, дух перевести. И чуть-чуть вздремнуть.

Утром на Ришельевской и Канатной появились бело-кремовые, хорошо выпеченные знаменитые одесские калачи с крупным изюмом и воодушевляющим запахом только что испеченного хлеба. Они продавались на уличных, мокрых, не успевших еще обсохнуть ящиках. Их продавали худые, сморщенные, с заплаканными глазами еврейки.

Я иду в морг медицинского факультета. Там, говорят, "можно ознакомиться с итогами погрома". У входа в морг группы небрежно одетых людей. Людей, близко видевших смерть и потерявших поэтому способность бесечно говорить о ней.

Вонь гниющего тела и карболки. В большом квадратном светлом помещении длинные невеселые столы. На них лежат убитые студенты. Большинство из них — участники самообороны. Их человек 15. В форменных шинелях, в воротничках, густо и щедро измазанных кровью и грязью.

Запомнился один студент. Он производил такое впечатление, что через него прошла армия. Лица не видно было. Оно было покрыто грязью и кровью, но во впадинах и выпуклостях угадывались молодые, энергичные черты. Помню еще узенькую полоску запекшейся темно-коричневой крови — остатки разбитого и изуродованного рта, два ярких белых зуба, новенькая, очевидно, щегольская шинель, чудовищно измятая и загаженная конским пометом.

Рядом с этим студентом лежала девочка лет 7-8 с мягкими и нежными формами тела, с чистой светящейся улыбкой, будто вылепленная из голубо-желтого воска. И казалось, что лежит она в паноптикуме, но стоит завести над ней ключом звучащую пружину, и глаза у нее откроются, а круглая головка, немного дрожа, ритмически с легким скрипом начнет двигаться, то в одну, то в другую сторону.

Почему девочка попала сюда в университетский морг, куда свозили только студентов? Вероятно, по недосмотру, а может, так, "для контраста смерти".

В стороне от морга, в подвалах медицинского факультета лежали убитые громилы, провокаторы и переодетые городовые. Человек 40. Мне показалось, что вонь от них шла более густая и что она была одуряющая и тошнотворная. Я спустился по усыпанным деревянными опилками и гравием ступенькам. Убитые лежали точно на пляже в легких, непринужденных позах. Часть из них была без верхней одежды. С широкими руками, покрытыми волосами, с невысокими, плоскими лбами. Меня поразила одна особенность: все они были похожи друг на друга. Почти все они погибли в роковых неосвященных молдавских переулках, наивно доверившись им.

На еврейском кладбище можно было глядеть в холодное свинцовое небо и глотать теплые слезы. Мои усилия казаться мужественным и не плакать были тщетны.

Никогда в жизни не забыть мне этих сцен!

**Письма Оскара Августиновича Беренса,
мецената Амшея Нюренберга**
Из архивов Кировоградского художественного музея и О. Танганя

18.03.1905, Бандурка.

*Ниренберг!** Очень печально все то, что происходит на белом свете, но как бы это ни было тяжело, мы должны дальше трудиться, а потому не смущайтесь волнениями и учитесь усердно, чтобы, достигнув того, к чему Вы стремитесь, для чего Вы учитесь, Вам бы со временем жилось легче. По-сылаю Вам чеки по 15 рублей и надеюсь, что Вы и впредь не будете принимать участия в демонстрациях, устраиваемых молодежью.

Сердечно жму Вашу руку.

О. Беренс.

Пишите, что у Вас слышно вообще и о Вашей школе, в особенности, и отвечайте, получили ли деньги.

Бандурка 7.X.8.

Дорогой Ниренберг!

Все Ваши открытки получил и очень жалею, что не мог сейчас же Вам ответить. Все это время, как, впрочем, и всегда я был очень занят и не мог собраться это сделать. Я все же очень жалею, что Вы какой-то экзамен не выдержали и он отложен до весны. Мне говорили, что были какие-то рецензии в Одесских газетах о выставленных Вами эскизах, но в чем заключаются эти рецензии, мне повторить не могли, а я сам их, очевидно, пропустил. Виделся я во время земского собрания в Елисаветграде с Вашим бывшим преподавателем рисования из реального училища. Он очень вас не хвалит за то направление, в которое Вы теперь ударились. Видно, люди, серьезно изучившие Вашу специальность, сходятся на этом убеждении (ведь Попов, как Вы мне говорили, тоже такого же мнения), и Вам следовало бы прислушиваться к тому, что говорят авторитеты. Я, лично, не могу Вам давать советов, касающихся художественных произведений, но, скажу откровенно, ко всему декадентскому чувствую глубокое отвращение. Я глубоко убежден, что декадентство вообще есть результат неумения логически мыслить, это — направление (как в литературе, так и в живописи), кото-

* В письмах О. Беренс писал "Ниренберг", используя старое написание фамилии. (О.Т.)

рое существует вне определенных форм и понятий, а создает только туманные образы, какие-то "настроения". Я, например, уверен, что Вы не найдете ни одного декадента между математиками и это только потому, что мысли у математиков всегда последовательны и логичны. Бросьте и Вы лучше эти настроения, которые никому ничего положительного не дали, а лучше изучите прежде то, что создано другими. А уж когда изучите все существующие школы, тогда выбирайте любую из них или даже создавайте свою собственную, если хватит на то сил, но теперь увлечение декадентством только может сбить Вас с толку, помешав изучать то, для чего Вы поступили в школу.

Позавчера написал длинное письмо раввину Темкину о Вас. Посмотрим, какой будет ответ.

Будьте здоровы, обнимаю Вас
Оскар Беренс.

Приезжайте в Крутые, как только сможете.

Крутые 18.VIII.1909 г.

Дорогой Ниренберг.

Ваши оба письма мне пришлось получить вчера за раз, когда я вернулся из продолжительной поездки в Бессарабию. К моему великому сожалению, я должен Вам ответить отказом в Вашей просьбе. Вы не раз слышали, что в последние годы этот презренный металл у меня не в избытке, а потому могу кое-как пробиваться, только придерживаясь своей аккуратности и избегая неосторожных скачков. Но это, собственно, не так важно для данного момента, важнее то, что я вовсе не чувствую, чтобы я стал поперек Вашей дороге, благодаря этому отказу. Если бы я это почувствовал, то был бы готов даже признать где-нибудь, чтобы только не иметь этого угрызения совести. Но я не чувствую своей вины только потому, что я глубоко убежден, что Вы вступили на ложный путь. И попали Вы туда отчасти благодаря тому, что Вы, предоставленный самому себе и влиянию Ваших товарищей, людей в жизни совсем неопытных, легко соблазнились каким-то призраком, который Вам, т. е. Вашему искусству, ровно ничего не даст. Ведь для стороннего наблюдателя, каким являюсь я, это ясно как Божий день.

Вы говорите, что в Академию уже поздно подавать прошение, что Вам хотят дать какой-то "куцый" аттестат. Да разве, если бы Вы серьезно любили Ваше искусство, Вы не подумали бы о том, что подать прошение нужно тогда-то, да разве Вы могли бы получить куцый аттестат? Мне

это не понятно. Вы, как беззаботный мотылек радовались своему счастливому положению, которое характеризовалось отсутствием забот и обязанностей, а в результате и получился "куцый" аттестат, который и Вас самого не удовлетворяет. Но Вы стараетесь заглушить голос благоразумия и повторяете себе: "Это не важно, разве мы учимся для аттестатов" и т. д. Конечно, мы учимся для знаний, лучше сказать, для достижения намеченной цели, но потому-то мы и преодолеваем все неприятные трудности и стараемся получать не куцые аттестаты, чтобы только достигнуть дорогой нам цели. Этим характеризуется каждая серьезная работа и каждый серьезный человек.

Думаю, что, положив руку на сердце, Вы этого про себя сказать не можете: Вы занимаетесь своим делом как дилетант и в нем Вы дальше этюдиков и эскизиков не пошли. Остальные предметы у Вас всегда были в заго-не, не смотря на то, что от них зависело получение "куцега" или не куцега аттестата, а это последнее дало бы Вам возможность пойти по тому пути, который лежал перед Вами.

Для меня теперь ясно: в русскую академию Вы не попадете. Вас манит в Париж, главным образом, потому, что Парижу создают славу все неудачники художники, которым среди рядовых художников нет места. Париж всех принимает в свои объятия и там, конечно, место есть и для Вас. Но что может Вам дать Париж при Вашем отсутствии характера и настойчивости в достижении известной цели — я легко могу себе представить, а потому искренне Вас отговариваю от этой мысли. Подумайте хорошо над этим, Вы сами себе знаете, что Вас тянет в Париж не искусство, а Парижская жизнь, которую другие Ваши товарищи с "куцыми" аттестатами нарисовали особенно привлекательной.

Если бы хоть в Вашем искусстве я видел у Вас большую настойчивость, громадную затрату труда, дело другое, но ведь, согласитесь, Вам 22 года и до сих пор я не видел и не слышал, чтобы Вы хоть попытались создать свое что-нибудь. Ведь у Вас нет ни одной работы, ни одного Вашего законченного произведения. А 22 года это такой возраст, когда человек, чувствующий в себе силы и дарование, непременно попытается создать что-нибудь, в чем выразилось бы его собственное я, а вместо этого у Вас было и увлечение литературой (Вы, кажется, мне даже писали, что уделяете писательству много времени), увлекались философией. И во всем Вы были только дилетантом, не смотря на то, что судьба Вам дала полную возможность получить от жизни очень многое.

Грешно Вам, Ниренберг, что Вы сами изгадили себе свое будущее и всегда воображали, что достаточно одного таланта, чтобы выйти в люди. Конечно, талант это прочный фундамент, на котором можно выстроить громадное здание, но громадные здания без громадного труда не создаются, а без здания и фундамент никому не нужен.

Может быть, Вы рассердитесь на меня за мое письмо. Будь вопрос о Вашей судьбе для меня совершенно безразличен, я, конечно, не писал бы Вам этого письма, но я не могу не высказать Вам своего взгляда. От души желаю, чтобы мои взгляды оказались неверными и чтобы в жизни Вы все же нашли то, что Вам нужно. Письмо же это советую сохранить и прочитать его каждый раз, когда Вам другие будут курить фимиами. Это будет очень полезно для Вашей критики Вашего собственного я, т. к., вероятно, никто другой не скажет Вам о Вас своего мнения так откровенно, как это сделал я на правах человека, много старше Вас, и близко принимающего к сердцу все, что касается Вас.

Где бы Вы ни были, не забудьте написать мне пару слов о том, что Вы делаете и что делает с Вами жизнь.

Крепко обнимаю Вас и от души желаю Вам попасть на правильный путь в жизни.

Ваш О. Беренс.

Крутые 14.01.1912 год

*Дорогой Ниренберг.**

Вы, вероятно, уже успели пожалеть, что написали мне, т. к. так давно не получали от меня ответа. Не судите строго. Есть минуты, когда писать невозможно, когда вас окружают люди, мешающие сосредоточиться, когда к вам пристают со всех сторон с делами, житейскими вопросами, и есть минуты, когда прямо писать не хочется, когда чувствуешь, что напишешь не то, что хочешь. Вот так было все это время.

Я только что отвез жену и Сережу на вокзал, откуда они поехали в Одессу, где Сережа уже полгода учится. И в данную минуту я совершенно один, и мне хочется поговорить с Вами. Как вы меня обрадовали Вашим письмом. Не тем, конечно, что Вы мне польстили и много хорошего сказали мне, чего я вовсе не заслужил, а тем, что я не ошибся в Вас и что я действительно нашел в Вас того Ниренберга, которого я привык в Вас видеть, но которого никто, кроме меня, не хотел в Вас признать.

* Письмо было отправлено А. Нюренбергу в Париж.

Если Вы действительно имели намерение облегчить мою ноющую душу, то Вы достигли этого вполне и я крепко обнимаю Вас за Ваше прелестное письмо. В нем Вы поговорили со мною искренне и сердечно, забыв совершенно о форме и стиле, так много портивших Ваши прежние письма и так заслонивших мне того Ниренберга, которого я в Вас всегда чувствовал. Ну и какой же из Вас декадент? Разве Вы сами этого не видите? Следуйте Вашему сердцу и чувству, отбросьте все модные учения и увлечения разными направлениями, и Ваши произведения кисти также смогут тронуть до слез, как и несколько просто написанных слов, которыми Вы меня так тронули. Вам ли не быть простым и искренним в Ваших произведениях, когда жизнь, прожитая Вами до сих пор протекла так, что Вы всегда видели вокруг Вас и лишения, и горе, и бедноту, и затаенные страдания всего Вашего народа? Но я не учу Вас, дорогой Нюренберг, спрячьте и эти слова туда, где спрятано и остальное, сказанное Вам мною. А я глубоко верю, что то, что положено Богом в Вашу душу, рано или поздно выйдет наружу, а мне только кажется, что я лучше Вас видел, что у Вас там есть, и вижу теперь, что предположения мои сбываются.

Ваше письмо я получил в Одессе. В половине октября я поехал туда, чтобы полечиться гидротанией и отдохнуть. И просидел там до Рождества, когда и вернулся с Сережей и женой в Крутые. Весь этот год был для меня крайне тяжел: с марта месяца я чувствую себя плохо и вижу, что это плохо идет возрастая. Страдаю головокружениями, которые мне прямо отравляют жизнь, а все наши мудрецы дают советы, берут деньги, назначают лечение, а толку никакого. Я смотрю на свое здоровье очень пессимистически и, как ни странно, но думаю, что это начало конца. Мой отец страдал такими же точно головокружениями (правда, в более позднем возрасте), но они закончились ударом, а там и пришел конец. Если бы мне Господь помог хоть Сережу видеть на ногах, то психическое мое состояние было бы отраднее, а так меня эта мысль угнетает страшно. Сережа уже в Зем классе Одесского Реального училища. Учится сносно, но мог бы учиться много лучше, если бы не отвлекался всяким баловством. Способности у него хорошие, для рисования очень верный глаз, но учитель у них такой невозможный, что рисовать он будет так же плохо, как и я. Жена моя, по-прежнему, летом сидит с Сережей в Бандурке и занимается хозяйством, а я сижу в Крутых и только приезжаю в Бандурку раз в две недели, чтобы помочь советом и опытом. Жизнь моя, как видите, не изменилась с внешней стороны, а во мне самом, как мне ка-

жется, большая перемена. Я чувствую усталость от всех тех незаметных для постороннего глаза пинков, которыми жизнь наделяет каждого из нас, и с каждым годом становлюсь все равнодушнее, как к удачам, так и к неудачам. Вот обо мне все.

Но что делает Вы? Почему Вы так мало написали о себе? Как разрешился вопрос о Вашей военной службе? Что Вы рисуете, что пишете, кто критикует Ваши работы, куда Вы стремитесь, т. е. имеете ли какую-нибудь определенную цель перед собой или нет? В Елисаветграде бесконечно давно не был и никого не видел. Гориков мне говорил, что видел Вас. Думаете ли вернуться в Россию? Говорите ли уже по-французски? Работаете ли под чьим-либо руководством или нет?

Ну, будьте здоровы. Еще раз большое спасибо. Крепко обнимаю Вас.

Ваш О. Беренс.

Елисаветград, В редакцию "Голоса Юга"

Ее высокоблагородию Анне Марковне Нюренберг*

(Для Амшея)

Крутые 22.06.1916.

Дорогой Нюренберг,

как я рад, что Вы подали признаки жизни. Где Вы пропадали так долго и куда Вас судьба забросила в последнее время? Мне говорили, что Вы в Николаеве, потом, что Вы в Одессе, но, чтобы Вы были в Елисаветграде, где я часто бываю — я никак не предполагал. Да, я перенес тяжелые минуты. В первых числах апреля я овдовел, и теперь вся моя семья состоит из Сережи. Нигде на всем свете нет ни живой души родственников. Зато, должен сознаться, что получил так много доказательств трогательных дружеских отношений от людей, знавших покойницу и меня, что не чувствую себя еще одиноким. Буду на этих днях в Елисаветграде. Если заглянете в Северную, то застанете там Сережу и меня.

Крепко обнимаю,

Ваш О. Беренс.

* Анна Нюренберг — старшая сестра Амшея Нюренберга.